

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВ А. А.

ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В РОССИИ XI—XVI вв.

Пути и принципы стабилизации языковой нормы в разные периоды существования литературного языка могут быть различны, их изучение имеет особо важное значение для понимания природы литературного языка в тот или иной период и должно опережать изучение самой нормы. Действительно, когда речь идет об историческом прошлом, полное описание нормы литературного языка на всех лингвистических уровнях может представляться на первых порах как задача исключительного объема. К тому же за разноречивыми и противоречащими друг другу показаниями источников по истории языка трудно увидеть норму такой, какой она была в действительности, а между тем понимание механизма стабилизации нормы — если оно достигнуто — позволит выработать методику первичной относительной оценки лингвистических фактов. В новое время стабильность языковой нормы достигается путем выработки всеобще признанного языкового кодекса прежде всего в виде нормативной грамматики, а затем в виде опирающихся на нее учебников, руководств и пособий. Однако определенной и очевидной стабильностью своих норм обладают также тексты, созданные в ту эпоху, когда не существовало кодификации современного типа.

Ключ к выявлению механизма и принципов стабилизации нормы, имевшей место в литературных языках средневековья, впервые нашел, по-видимому, А. Едличка. В ту эпоху, по его словам, «функции кодификации выполняли зачастую образцовые литературные произведения, в которых была реализована современная им литературная норма» [1] (эта мысль А. Едлички уже была плодотворно применена Н. И. Толстым [2]). При обращении к истории письменности в России XI—XVI вв. следовало бы, таким образом, определить те тексты, которые служили языковым образцом, и установить те пути, которыми осуществлялось их воздействие на другие тексты.

1) Понятно, что источниками нормы, образцами могли становиться те тексты, которые получали общественное признание и значение прежде всего по своему содержанию, почти безотносительно к достоинствам своего языка. Об авторитетности текста среди прочего говорит количество дошедших до нас списков и частота его цитирования в современной ему литературе. По этим признакам среди произведений древней славяно-русской письменности на первое место выходят Евангелие и Псалтырь, а за ними прочие библейские книги. Признание стилеобразующей роли этих текстов в поэтике древней литературы южных и восточных славян закреплено выражениями «этикетный стиль» (Д. С. Лихачев), «стилистический ключ» (Р. Пиккио), но необходимо принять во внимание и кодифи-

кационно-нормативное значение этих текстов во все то время, пока в письменном употреблении был церковнославянский язык.

Кроме того общенормативного значения, которое приобрели Евангелие, Псалтырь, литургические тексты, в каждом отдельном случае в качестве образца мог использоваться также (и, как правило, использовался) наиболее близкий по жанру текст, освященный авторитетом автора, содержания, древности происхождения и т. д., то есть гомилист брал за образец гоимию, агиограф — житие и т. п. При широкой распространенности компиляций не только создавались подражания хорошим образцам, но сами образцы входили составными частями в новые тексты.

На нескольких примерах покажем приемы и способы использования образцового текста. Так, русский переводчик XII в. Песни песней с толкованиями постоянно обращается к древнему переводу этой библейской книги, выполненному в конце IX — нач. X в. на славянском юге (и, по всей вероятности, самим Мефодием). Цель этих обращений состоит не в том, чтобы перенести в новый перевод какие-либо приемы передачи греческого оригинала, не в том, чтобы с помощью древнего перевода интерпретировать греческий оригинал, — в этом переводчик XII в. вполне независим. Цель этих обращений состоит в том, чтобы перенести в новый перевод лексико-стилистические элементы древнего текста. Проявляется это следующим образом (подробное рассмотрение материала см. в [3]).

Давая вполне независимый перевод библейского текста, в составе толкований на него переводчик XII в. воспроизводит формы древнего перевода. Ср. следующие пары, в которых на первом месте находится независимый вариант перевода XII в., на втором — вариант перевода, заимствованный в текст XII в. из древнего перевода, во всех случаях греческий оригинал неизменен: *положиша (мя стража) — приставиша, аще не уѣдѣ — аще не разумѣши, (скача) на горы — по горамъ, удивися — ужасеся* и т. д. Такого рода вариантность проходит по всему тексту. Между прочим, точно в таких же чертах проявляется зависимость от этого же древнего перевода в переводе толкований на Песнь песней Феодорита Киррского, выполненном в XV в. на славянском юге Константином Костенецким [3, ч. 2, с. 4—5].

В переводе XII в. некоторые слова сопровождаются глоссами, включенными в самый текст, ср. *цѣтѣ въ кринахъ* (τὰ κρίνα), *вошь араматы*, *съ вошями араматами, въ оружие на колесницы* (ἄρμα τὰ), *въ кринахъ въ цѣтѣхъ, сыны сирѣчь стѣпны*. Во всех случаях глоссирующий вариант совпадает с основным чтением древнего перевода.

В переводе XII в. стих 6.10 ἐν ῥενοῦσιν τοῦ Χερὸν переведен *въ бытие потока*, тогда как ожидалось бы *въ житѣ потока*. Правильное чтение находится в древнем переводе Песни песней, но в ряде русских списков этого перевода оно искажено: *въ животѣ потока*. Очевидно, что перевод XII в. в этом месте следует вторичному варианту, давая синонимическую замену *живота* на *бытие*. Стремление привести новый перевод в лексико-стилистическом отношении к согласию с древним переводом оказывается, таким образом, сильнее, чем желание создать новый независимый и удобопонятный текст.

Такого рода наблюдения о зависимости словоупотребления того или иного автора от тех или иных образцов можно нередко встретить в филологических исследованиях, однако большей частью они случайны, а если сделаны без солидной текстологической базы, то и ненадежны. Филологи старой школы ценили такие находки как указание на связь одного средневекового писателя с другим, литературоведы выводят на их

основе заключения о стилистических и поэтических принципах того или иного писателя. Лингвистическое значение этого материала не было осознано. Между тем из приведенных примеров видно, что писатель XII, XV века может вводить в свой текст элементы текста, возникшего за триста-шестьсот лет до него (а это нужно учитывать, в частности, при датировках лингвистических фактов, см. [4]), что эти элементы вовсе не вносят в новый текст ни архаической семантики, ни архаизирующей стилистики, что — более того — эти элементы могут оказаться опорными и ключевыми в нормативной структуре нового текста.

Однако отсутствие кодификации современного типа (путем кодекса) способствовало колебанию нормы в широких пределах, к этому же приводил основной способ увеличения числа экземпляров литературного произведения — рукописное копирование. Поэтому в списках наряду с разночтениями, возникшими чисто механическим путем по невниманию, недосмотру, передки разночтения, возникшие в связи с разным истолкованием текста, что частично объясняется различиями в усвоении языковой нормы (среди таких разночтений находится вышеупомянутая замена *жита* на *животъ*). Неоднократные редакционные переработки текста — для переводов обычно с новым использованием иноязычного оригинала, в других случаях это могла быть чисто стилистическая редакция (см. [5]) без обращения к дополнительным источникам — еще более усиливали диапазон колебаний и варьирования, способствуя расшатыванию нормы. Вместе с тем при стилистическом редактировании с большей последовательностью мог проводиться тот или иной лингвистический принцип, что вело к языковой унификации и стабилизации. Так, в эпоху II южнославянского влияния в копируемые тексты последовательно вносились некоторые южнославянские орфографические приемы и столь же последовательно изгонялись некоторые восточнославянские орфограммы, например, написания с полногласием, хотя бы и возникшие в самом архетипе (см. [6]). Тексты, вызывавшие особый литературный и практический интерес, не только копировались с особой тщательностью, но копировались особым образом — с использованием двух и более антиграфов (непосредственных оригиналов), так что случайные ошибки одного из них исправлялись на основании другого. Так складывалась контролируемая текстологическая традиция, которая в дореволюционную эпоху была единственным средством борьбы с естественной порчей текста (см. [7]).

Таким образом, в ходе создания и рукописного бытования текста на всех этапах его существования можно наблюдать взаимосвязь и взаимозависимость между функционированием механизма стабилизации нормы и рядом типичных и индивидуальных особенностей в судьбе каждого отдельного произведения, в лингвистической и стилистической структуре его текста.

В качестве письменного литературного языка донациональной эпохи церковнославянский язык стремится к тому, чтобы освободиться от дестабилизирующего влияния живой речи. Усилия нормализаторов еще не распространяются на свободно развивающееся живое употребление, они ограничиваются более скромной и непосредственной задачей сохранять в неизменности раз возникший текст, а всякий новый текст уподоблять готовому образцу. В новое время образцы также сохраняют за собой важную роль в ходе кодификации нормы, но роль эта другая: образцы дают материал для составления кодекса, их влияние на норму опосредовано кодексом. Впрочем, стиль, способ изложения могут и в новое время непосредственно зависеть от образцов (см. [8]).

При отсутствии кодификации современного типа самым действенным средством поддержания стабильности письменного языка оказывается его «амансипация» от живого употребления и подчинение норме раз навсегда принятого за образец текста. Здесь, вероятно, уместно будет подчеркнуть еще раз то обстоятельство, что ни библейские тексты как источник нормы церковнославянского языка, ни ряд других южнославянских по происхождению текстов, игравших в определенной мере эту же роль, не могут быть вынесены за пределы источников по истории литературного языка донациональной эпохи, поскольку норма и ее источники не могут быть чем-то внешним к языку. Механизм становления нормы в отличие от механизма порождения кодекса не является экстралингвистическим фактором. К тому же, как становится известно теперь, немало библейских текстов было переведено в самой Древней Руси. Восточнославянский лингвистический элемент попадает во все оригинальные восточнославянские тексты, но он проникает также в восточнославянские списки с южнославянских оригиналов, служивших языковым образцом. Норма, т. е. объективные закономерности употребления языковых элементов, в тех и других текстах была одина, а ее варьирование не настолько значительно и последовательно, чтобы могло быть осознано в ту эпоху, когда не было нормативного кодекса и современных приемов филологического исследования.

Связь с народно-речевой основой у письменного литературного языка, возникшего в пределах данного языкового коллектива и ориентированного на образцы, с течением времени ослабевает по мере изменения норм живого речевого употребления. — таково оказало положение церковнославянского языка у южных славян. Поэтому оказывается безразлично, автохтонного или же чуждого происхождения письменный литературный язык. В известном отношении усвоение чуждого языка в качестве литературного даже удобнее, потому что его стабильности меньше угрожают живые языковые процессы, а при узком круге носителей этого языка и ограниченности его функций она может поддерживаться с меньшей затратой сил.

Стабилизация нормы, основанная на употреблении образцовых текстов, существовала в России не меньше шести веков. Сложные исторические обстоятельства привели к разрушению заставшей социальной и языковой ситуации. Отказ от ориентации на образцы в наибольшей степени оказался определен следующими факторами.

Во-первых, в ходе развития книгопечатания главные тексты, служившие дотоле источником нормы, стали появляться в печатных изданиях. переписка их становится редкостью (так, после издания Острожской библии переписка библейских текстов практически прекращается, переписываются лишь тексты с толкованиями), и, значит, снижается их влияние на другие тексты. Во-вторых, значение традиционных образцов резко уменьшается с началом в XVI в. переводов с новых европейских языков, на что в свое время обратил внимание В. В. Виноградов [9, с. 145]. К этому же вело расширение жанровых пределов церковнославянской письменности, например, появление публицистически злободневных произведений вроде посланий Ивана Грозного, сочинений Ивана Пересветова, Ермолая-Еразма, цикла, связанного с эпохой Смутного времени, и т. п., появление частных писем на церковнославянском языке в связи с особыми историческими и идеологическими условиями момента (см., например, переписку царя Михаила Федоровича с отцом, патриархом Филаретом, и матерью, инокиней Марфой, на фоне писем предыдущих и последующих царей [10]). С другой стороны, развитие книгопечатания создавало необходимость выработать определенные издательские стандарты, прежде

всего в орфографии [2]. Не исключено, что именно в эпоху II южнославянского влияния, приведшего к широкому распространению искусственной тырновской орфографии, впервые в России была осознана относительная, конвенциональная природа орфографической нормы, и этим подготовлена почва для ее кодификации.

Таким образом, появление в XVI в. первых попыток создания языкового кодекса было в большой степени предпрешено внутренними условиями восточнославянской среды и поддержано влиянием античной грамматической традиции, заново охватившим Европу в эпоху Возрождения и отразившимся у нас переводом Донатуса и деятельностью Максима Грека. На Украине и в Белоруссии кодификация нового типа была обязана также своими успехами введению обучения в братских школах и запросам антикатолической полемики. В XVII в. ученым лицам вроде Епифания Славинецкого удастся, как кажется, вполне освободиться от влияния языковых образцов и перейти на кодифицированный грамматикой Мелетия Смотрицкого церковнославянский язык.

2) Иным было положение дел в рамках деловой письменности, осуществлявшейся на русском языке. В Русской правде, известной по трем своим редакциям в ста с лишним списках, мы сталкиваемся с обычными вариантами и разночтениями, появление которых обусловлено самим характером рукописного существования текста. Для других жанров деловой письменности Русская правда лишь в неполной мере могла служить языковым образцом. Составители судебных и уставных грамот принимали ее во внимание, но изготовители актового материала не могли открыть в ней источник для подражания в связи с большими различиями в форме и содержании разных документов.

Полной устойчивостью в грамотах отличаются формулярно закрепленные начальная и заключительная части, которые вследствие этого в наибольшей степени были подвержены церковнославянскому влиянию. Нарративная часть по особо тесной связи своего содержания с потребностями социальной и экономической практики могла быть формализована и стабилизирована в значительно меньшей степени. Заметно колеблется в деловой письменности даже правовая и экономическая терминология. Так, слово *задница* «имущество» вытесняется в XV в. словом *статѣкъ* [11], *злѣды* «преступник» чередуется с другими правовыми терминами — *ворѣ*, *лихои человекѣ*, *преступитель*, *преступникѣ* [12] и т. п.

Выразительную картину колебаний как в терминологии, так и в выборе прочих языковых средств дают две редакции договора Смоленска с Ригию 1229 г.: первая из них (список Д) восходит к латинскому противному (параллельному тексту) договора, вторая — к немецкому (список А). Ср. перечень наиболее ярких терминологических расхождений в этих двух редакциях (приводится по изданию [13] с некоторыми орфографическими переменами, цифры обозначают номера статей): 1 *вольни члвкъ* — *свободный члвкъ*, 3 *пригодить ся пакость* — *что учинять*, *хромота* «увечье» — *вѣкъ*, 5, 6 *должонъ* — *имѣвать*, 7 *задница* «наследство» — *остатѣкъ*, 12 *вольная жена* — *свободная жена*, *не слышати было блядне ее* — *на ней не было сорама*, 19 *безъ всякое борони* — *свободно*, 20 *не боронити* — *не держати*, 22 *обестити старейшому* — *явивъше старость*, 25 *не дати ни вежше* — *не дати ничего*, *крънети* — *купити*, 30 *без борони* — *бес пакости*, 34 *тяжа будетъ соужона* — *орудие боудеть доконъчано*, 36 *волостелеве* — *земледѣржцы*.

Рядом с этим заметна чисто языковая вариантность в передаче тождественного содержания: 4 *всадити въ дыбоу* — *сажати оу дыбоу*, 9 *имати на*

железо — вести ко железу горячему, возлюбить самъ свою волю — самъ въсхочеть, 10 позвати на поле — звати на поле, 11 иметь у своей жоны — застанеть [с] свою женю, 12 учинить насилье надъ робю — насилуетъ робѣ, 21 разе — лише.

Однако и тут значительная часть терминологии сохраняется в неизменности. Ср., в частности: 1 *голова* «убитый», 2 *холопъ*, 4 *пороука*, *извинитися* «быть виноватым», 5 *дати въ долгъ*, 13 *связеть безъ вины*, 14 *детьскыи «бирич»*, *исправить «взыскать»*, 16 *метати жеребеи*, 24, 25 *въсѣць* «весовщик», 13 *мыто*, 33 *татъ*, 34 *пересюудъ*.

В отличие от церковнославянского языка, в котором богословско-догматическая, нравственная и философская номенклатура сохранялась с большой степенью устойчивости в течение нескольких столетий, язык русского права в своей терминологии был открыт влиянию живого употребления и отзывался на изменения общественной жизни. Тем не менее и в нем действовали какие-то факторы стабильности, — их происхождения и пути воздействия еще не выяснены, но результаты наглядно сказываются в консервативном характере канцелярского языка.

Действительно, при ознакомлении с разными актами одного и того же типа — будь это духовные, купчие, рядные и т. п. грамоты, челобитные, следственные и судебные дела — бросается в глаза, что не только формуляр, но и нарративная часть документов в своей форме и языковом выражении имеет много устойчивого. Отношения между отдельными документами, принадлежащими к одному разряду канцелярской письменности, напоминают отношения между рукописными редакциями или даже списками одного и того же произведения, если отвлечься от различия в датах, именах, имущественных перечнях. По свидетельству С. С. Волкова, в челобитных XVII в. нарративная часть «не облекается в какую-либо специальную форму», она «излагается свободно, в соответствии с желанием автора (писца). Однако в этой кажущейся свободе, произвольности изложения при пристальном рассмотрении... обнаруживается ограниченное количество трафаретных зачинов изложения обстоятельств дела, мотивов обращения с просьбой, жалобой и т. д.» [14]. Для примера бегло охарактеризуем структуру духовных грамот (о формулярах некоторых других видов актов и о стабильных элементах в них см. работы [14—17]).

I. Протокол. 1 Инвокация («Во имя отца и сына...»). 2. Интитуляция («Се азъ рабъ божий имярек»).

II. Нарративная часть (текст). 1. Аренга («Отходя света сего» или «Иду чи на службу великаго князя»). 2. Наррация («Пишу сие рукописание» или «Пишу грамоту духовную, кому ми что дати и у кого что взяти»). 3. Диспозиция (распоряжение). Здесь возможны два основных способа изложения: а) при наррации первого типа обычно следует перечень лиц в дат. падеже и предметов собственности в вин. падеже, иногда этот перечень вводится словом *приказываю*; б) при наррации второго типа (*дати... взяти*) также следует перечень лиц в дат. падеже и предметов собственности в вин. падеже, вводимый словом *дати*, но здесь есть вторая часть, которая вводится глаголом *взяти*, управляющим синтаксической конструкцией *у кого (на ком) что*. В пространных грамотах, где перечень имущества велик, эти конструкции не выдерживаются до конца, им на смену приходит серия сложноподчиненных предложений с изъяснительной или определительной связью и ограниченным набором союзных слов. Ср.: «А что мои денежки на людѣхъ въ дѣлѣ, и тѣ денежки мои жена сбереть съ моимъ посельскимъ» 1472 г. [18, с. 436], «А что есми занял у Ески у Юршина тысячу, а то есмь ему и заплатилъ» XV в. [18, с. 435], «Да что про Ивано-

ву кабалу Челищева припаматоваль есми, и язъ ее вспаматоваль, и тѣ бы денги заплатили и съ росты, тѣмъ пожелаетъ» 1548 г. [18, с. 453].

III. Эсхатокол (конечный протокол). 1. Удостоверение (corroboratio) представляет собою список лиц, присутствовавших в качестве свидетелей, иногда содержит имя писца. 2. Санкция: «А кто се рукописанье почынетъ рудити, судиться со мною передъ Богомъ на страшномъ судѣ» XIV в. [18, с. 433].

Формулярники, т. е. образцы актов разного типа, были плохо известны Древней Руси. Сохранился один формулярник XV в., представляющий собою сборник митрополичьих грамот, т. е. подборку довольно специального назначения [19]. Кое-какие надежные сведения о работе писцов относятся лишь к концу XVII в., когда стали появляться и правительственные указы, определявшие форму документов [20, с. 153]. Однако для предшествующего времени таких сведений нет, так что приходится допускать, что «общий формуляр некоторых видов актов вырабатывался в среде площадных подьячих и дельцов данного времени на почве обычного права» [20, с. 151]. Влиянием обычного права придется, очевидно, объяснять повторения сходных фраз, которые встречаются в независимо возникших документах. Ср., например: «А что мои слуги, то всё, и съ женами и съ дѣтми, на слободу» 1483 г. [18, с. 440], «А что мои люди полные и докладные, тѣ всё по моемъ животѣ на слободу» 1548 г. [18, с. 451].

Даже правые грамоты (судебные списки), представляющие собою запись словопрения в ходе судебного разбирательства, отличаются единообразием в передаче речей разных лиц. Выразительный пример такого рода дает собою правая грамота 1503 г., содержащая запись судебного разбирательства о похищении сена с покоса. Вот как четыре разных свидетеля описывают последний этап следствия, učinенного истцом в присутствии понятых (текст приводится по работе [21]).

а) «И Федко, господине, да Костя Полуевы с Шпрям и с нами у того Гридки, лезши, и выняли в пристене в рубленном меж истобки и клетки своего сена краденаго воза с два, и сено с сеном (у истца были с собою остатки краденаго сена.— А. А.) сложили, ино сено одно. И Гридка, господине, Тевелга то сено назвал своим, а сказал, что его купил, а того не сказал, у кого купил».

б) «И Федко, господине, и Костя Полуевы, лезши, выняли у того Гридки своего сена краденаго в сеннице в рубленной меж истобки и клетки воза с два, и сено, господине, следовое с тем сеном сложили, ино сено одно. И Гридка сказал, что сено его купленное, а того не сказал, у кого то сено купил».

в) «И выняли у него, лезши, во дворе монастырские христьяне прилуцкие, Федко да Костя Полуевы, в сеннице в рубленной меж истобки и клетки сено воза с два, а сказали, что то сено их, украдено у них того сена ночесъ с лугу стог, трицать копен. И сено следовое с тем сеном сложили, ино сено одно. И Гридка Тевелга сказал, что сено его купленное, а того не сказал, у кого купил».

г) «И монастырские, господине, христьяне прилуцкие, Федко да Костя Полуевы, лезши, и выняли у него во дворе в сеннице в рубленной меж истобки и клетки сено воза с два, а сказали, что то сено их, украдено у них ночесъ с лугу, стог, трицать копен. И сено, господине, следовое сложили с тем сеном, ино сено одно. И Гридка, господине, сказал, что то сено его купленное, а того не сказал, у кого купил».

Как видно, внимание писца сосредоточено на том, чтобы тождественные по смыслу показания четырех свидетелей оказались тождественны и в фор-

мах языкового выражения, по крайней мере, в юридически ответственных местах. Кажется несомненным, что сама лексика и основные повествовательные приемы этих четырех записей идут из непосредственного рассказа свидетелей, удачно найденная формула «сено с сеном сложили, ино сено одно» также обязана этому рассказу. Та работа по стабилизации текста, которую выполнил писец, состояла прежде всего в закреплении найденных формулировок через их повторение, в придании большей точности словесному описанию событий (добавляется, например, определение *следовое* к слову *сено*), в отборе содержательно необходимых элементов и отсеянии случайных и необязательных, в оформлении содержания устойчивыми и привычными для канцелярской письменности оборотами (начинательное *и*, ритмически обусловленное помещение обращения *господине*).

Наконец, в области дипломатической переписки стабилизации текста и неоднократному воспроизведению определенного набора языковых средств способствовало также строгое правило писать встречные документы «слово в слово» (см., например, это требование в наказе послам 1490 г. [22].) Это вело к тому, что в преамбуле ответного документа точно воспроизводилось содержание полученного документа, а диспозиция представляла собою ряд статей, находящихся в содержательном и языковом соответствии с преамбулой.

Итак, деловой язык, являясь письменным языком канцелярского употребления, должен был обладать стабильной нормой. Пока не ясно, нужно ли связывать различие языковых средств, обнаруживаемое в разных родах канцелярской письменности, с соответствующими различиями в норме, но во всяком случае в языке законодательных текстов, каковы Русская правда и судебники, наследие более отдаленных эпох представлено полнее, чем в актах. В отличие от церковнославянских текстов русские деловые тексты в своей норме зависели не только от образцов (видеть ли их в языке обычного права, Русской правде, в каких-то образчиках документов разного типа), но и от живого употребления. В этом отношении положение деловой письменности средневековья не многим отличается от положения языка современной канцелярии. Принципиальное отличие языка средневековой канцелярии от современной состоит в том, что первый представлял собою обособленную систему, подверженную в известной степени влиянию церковнославянской письменности и деловых языков соседних народов, тогда как второй обладает лишь признаками одного из функциональных стилей литературного языка, т. е. не является самодовлеющей лингвистической структурой.

В настоящее время нет возможности судить о том, в какой степени русский деловой язык средневековья отставал от живого языкового развития, был ли он архаичен в каких-то своих языковых формах. Не исключено, что устарелые слова держались дольше в его обиходе, что сохранение паратаксиса в качестве господствующей синтаксической модели не отвечало живому языковому развитию, что повторение предлогов применялось в нем (как и в языке фольклора) гораздо дольше, чем в обиходном языке. Однако со времени Б. А. Ларина, обратившего внимание на необходимость изучения живого обиходного языка, исследователи деловых текстов интересуются прежде всего отражением в них живых языковых процессов.

Русский деловой язык в отличие от церковнославянского ни в коей мере не был мертвым письменным языком. Своей зависимостью от живого обиходного языка, онтологической вторичностью по отношению к нему,

характером языковой нормы он сближается с современным литературным языком, различаясь путями и способами стабилизации языковой нормы. Особенно очевидным на фоне этого сближения становится то принципиальное значение, какое имеет для литературного языка национального периода его полифункциональность, точнее, — панфункциональность. Пройдя в XVIII в. через эпоху «многоязычия», т. е. систему относительно замкнутых и изолированных функциональных стилей, когда и язык художественной литературы был одним из таких стилей, литературный язык нового времени приобрел свое единство благодаря выдвиганию на первый план национальной художественной литературы, которая отвела обиходному языку его законное первенство в письменности и присвоила себе право одобрять или отвергать языковые новшества, где бы они ни возникали, отбирать и усваивать лингвистические элементы из исторического прошлого и из других языков, препятствовать тенденциям к обособлению функциональных стилей и размежеванию в языковой практике различных общественных групп.

3) Кроме более или менее выдержанных по языку церковнославянских и русских текстов существовало значительное количество произведений, в языке которых в той или иной пропорции были смешаны церковнославянская и русская стилистика. Такие оригинальные произведения Киевской эпохи, как Слово митрополита Илариона, Жития Бориса и Глеба, Феодосия содержат незначительную примесь восточнославянских черт, между тем как во всех новгородских произведениях, как и вообще областных литературах удельно-вечегового периода, включая раннюю московскую письменность (Житие Петра, Куликовский цикл), восточнославянизмы представлены в значительном количестве. Эти смешанные по языку тексты оказываются столь заметной особенностью восточнославянской письменности, что именно на их материале прежде всего было основано учение В. В. Виноградова о двух типах литературного языка Древней Руси. Центральное место среди смешанных по языку текстов занимает летопись.

Недавно Г. Хютль-Фольтер [23] предложила объяснение лингвистической мотивации в летописи русских полногласных вариантов: ими по большей части обозначены реалии и явления восточнославянской действительности, наряду с ономастикой они представляют своего рода технические термины, т. е. в принципе непереводаемые и незаменимые единицы текста. Вероятно, не только полногласие, но и весь восточнославянский элемент смешанного текста может быть оценен как маркированный элемент в оппозиции с церковнославянским языком, как и вообще русский письменный язык в оппозиции с церковнославянским языком в рамках письменного двуязычия Древней Руси.

Действительно, если перечень ситуаций, когда необходимо было применение на письме церковнославянского языка, составить довольно затруднительно, то условия применения русского языка определяются легко: практическое право и хозяйственно-экономические отношения, в остальных случаях допустимо было применение церковнославянского языка. Иначе говоря, все, что не нужно было писать по-русски, можно было писать по-церковнославянски. Это приводит к осмыслению церковнославянского языка как основного языка письменности, на нем составляются документальные по своей природе летописные погодные записи [24], нередко на него переводятся русские по своему языковому происхождению источники.

Так, речь волхвов с изложением языческой антропологии передана в Начальной летописи по-церковнославянски, т. е. на том языке, который явился у восточных славян как проводник христианства и именно потому пользовался своим социальным престижем. Ср.: «Богъ мывъся в мовници и вспотивъся, отеръся ветъхомъ и верже с небесе на землю, и распрѣся сотона съ Богомъ, кому въ немъ створити чловѣка. И створи дьяволъ чловѣка, а Богъ душу во не вложи, тѣмже аще умреть чловѣкъ, в землю идетъ тѣло, а душа къ Богу» (Лаврентьевский сл., под 1071 г.).

В летописном Житии Михаила Черниговского слова первоначальной редакции «Михаил, вѣдая буди, мертв еси!», отличающиеся такой своеобразной выразительностью, что их приходится оценивать как вкрапление в текст живой русской речи, заменены в риторической переработке Пахомия Серба следующей фразой: «Аще в сем разуме пребудеши, о Михаиле, и цареву волю не створиши, умрети имаши» [25, с. 216]. Переработки житий, выполненные Пахомием, пользовались, как известно, особым уважением, они систематически включались в Великие четьи mineи, оттесняя оригинальные и более документальные по языку редакции [25, с. 241, 419]. Редакционные переработки, приводившие к изгнанию восточнославянского элемента, могут быть с известным основанием приравнены к переводу с русского на церковнославянский язык.

Следовательно, летописный текст как целое воспринимался одним из жанров церковнославянской письменности и — во всяком случае, по намерениям летописцев — создавался на церковнославянском языке (ср. [26]). Возможно, что закрепление летописного повествования за церковнославянским языком было обязано тому, что летопись выступала продолжением всемирных византийских хронографов, знаком чего оказался помещенный в начале Повести временных лет рассказ о библейской истории от потопа и о сотворении мира в Речи Философа, — ими и был определен язык дальнейшего повествования.

Включению русского элемента в летописный текст должны были действовать следующие обстоятельства. Во-первых, устные источники, бывшие в распоряжении составителя Начальной летописи, были, разумеется, изложены на русском языке [27], что не могло пройти бесследно для летописного текста. Во-вторых, существование деловой письменности с самого начала обусловило «легализацию» письменного употребления русского языка и облегчило его проникновение в летопись, тем более что деловые тексты помещались в летопись нередко в своем первоначальном виде (см. грамоты в Ипатьевском своде под 1164, 1287, 1289 гг., ср. также [28]). В-третьих, принцип функциональной закреплённости русского языка за определенным содержанием обуславливал столкновение двух языковых стихий в рамках одного произведения, по мере того как автор переходил от одного предмета к другому. Ср. в связи с этим выразительный пример из послания митрополита Киприана 23 июня 1378 г. с изложением церковно-канонических и бытовых материй: «Ничтоже есть убо злѣйшее сего, еже божественное дарование куплениемъ себѣ приобрѣтаетъ, мздою или силою княжскою, такоже и продаѣтъ то; яко раба бо вмѣняетъ Святаго Духа даръ» и «Слуги же моя, надъ многимъ злымъ, что надъ ними здѣяли, отпуская ихъ на клячахъ либивыхъ, безъ сѣделъ, во обротѣхъ лычныхъ, из города вывели ограбленныхъ и до сорочки, и до пожевъ, и до ногавиць, и сапоговъ и киверевъ не оставили на нихъ» [29]. Наконец, как это видно из приведенного примера языковой правки Пахомия Серба, количество русских элементов в летописном и другом смешанном тексте зависело от языковой компетентности писателя: пере-

дача «русского» содержания церковнославянскими средствами требовала хорошей подготовки.

Систематическое нарушение чистоты церковнославянской стилистики в летописи определенным образом сказывалось на характере языковой нормы. Поскольку норма определялась образцами, раз возникнув, смешанные тексты провоцировали появление других подобных текстов. Рядом с одной нормой появлялась другая, может быть, не как что-то самостоятельное, а лишь как разновидность основной нормы.

Лингвистическое своеобразие смешанных текстов особенно отчетливо проявляется в том, что в них регулярно применяются грамматические формы, почти неизвестные ни церковнославянским, ни русским текстам. Сюда, однако, не нужно причислять такие иногда приводимые в этой связи формы, как *клаколь* (вм. *колоколь*), *планъ*, *планение*, *планникъ* (вм. *плъ*-), так как они встречаются либо в текстах южнославянского происхождения (Библия. Слова Григория Богослова), либо в таких текстах, происхождение которых не вполне ясно (Хроника Георгия Амартола, Космография Козьмы Индикоплова), не исключено, что написания типа *план* обязаны отвердению согласных на болгарской почве [30]. В данном случае речь должна идти прежде всего о синтаксисе причастия. Так, дательный самостоятельный чем дальше, тем больше употребляется в смешанных текстах в значении независимого предложения, нормой его употребления в церковнославянских текстах было значение придаточного предложения, русским текстам он просто неизвестен. На это новое употребление дательного самостоятельного приходится в Ипатьевском списке из 316 случаев 100, в Лаврентьевском из 262 — 86, в Московском своде из 364 — 183, в сочинениях Ивана Грозного из 139 — 84, в памятниках Смутного времени из 259 — 142 [31]. Преимущественной особенностью смешанных текстов, прежде всего летописных повестей, является абсолютное употребление причастия в качестве сказуемого при отсутствии в предложении личной формы глагола, употребление причастия в качестве сказуемого рядом с личной формой (так называемое «второстепенное сказуемое» типа «вставь и рече»). Появление таких новшеств можно было бы объяснять тем, что потеря восточнославянской речью причастия обусловила неумение писцов справляться с синтаксисом церковнославянского причастия. В действительности это так и есть, однако постоянное употребление этих синтаксических средств, пожалуй, даже расширение их употребительности говорит о том, что они воспринимались как синтаксическая норма, свойственная определенному кругу письменных жанров.

Поскольку образцами для создания проповедей служили проповеди, житий — жития, летописей — летописи, актовое материало — акты, причем в каждом случае можно попытаться выделить языковые черты, свойственные лишь одному какому-либо жанру, складывается впечатление о известном «многоязычии» Древнерусской языковой ситуации или «полицентризме» древнерусского языка, как названо было это явление Д. С. Вортом [32]. Но с лингвистической точки зрения нет возможности говорить больше чем о двух языках Древней Руси — церковнославянском и русском, выделяемых в согласии с двумя путями стабилизации и двумя основными видами нормы, определявшими своеобразие структуры и сферу функций каждого из этих языков. Включение русского элемента в церковнославянский текст не вело к возникновению нового принципа стабилизации нормы, не вело оно также и к возникновению новой лингвистической системы, смешение элементов двух систем было внешним, механическим. Как отметил В. В. Виноградов, «промежуточные разновидности

ности литературной речи до XVI в. образуются не на основе синтеза, органического объединения или сочетания этих двух типов литературного языка, а путем их смешения или чередования — в зависимости от содержания и целевой направленности изложения... Функционально-стилистические различия могут быть обнаружены лишь внутри того или иного типа языка, хотя самые типы далеко не всегда реализуются в чистом виде в композиции целого произведения» [9, с. 106].

Русский и церковнославянский элементы впервые оказались в рамках одной лингвистической системы лишь в период образования нового литературного языка. В этих условиях Ломоносов первым осознал, что церковнославянскому элементу может быть придано значение стилистически высокого варианта. Созданные Ломоносовым образцы такого применения церковнославянизмов сохраняли свое влияние до 30-х гг. XIX в.

Наши сведения о путях стабилизации лингвистической нормы в России XI—XVI вв. еще очень невелики, так что настоящее рассмотрение этого вопроса не может претендовать ни на исчерпывающую полноту, ни на полную точность.

Понимая под литературным языком такой письменный язык, который обладает известной стандартностью своих основных лингвистических черт, мы приходим к признанию того, что наличие двух письменных норм, поддерживавшихся в своей стабильности двумя лишь отчасти сходными системами стабилизации, отвечает существованию двух письменных языков в России XI—XVI вв. Применение письменного языка в художественно-повествовательных целях не может рассматриваться как ведущий признак литературного языка особенно для той эпохи, когда художественная литература как своеобразное явление культуры и вид художественного творчества отсутствовала [25] или же ограничивалась рамками устного фольклора. Языкотворческий приоритет, завоеванный художественной литературой в новое время, в рассматриваемую эпоху принадлежал образцовым текстам, авторитет которых был связан с их ролью в общественной жизни.

Наличие двух систем стабилизации языковой нормы нельзя, однако, рассматривать как свидетельство двуязычия Древней Руси. В социолингвистической ситуации двуязычия два языка обслуживают все коммуникативные сферы на более или менее равных правах. Но в данном случае, во-первых, речь идет только о том положении, какое существовало в письменности и не известно за ее пределами, т. е. в устном общении; во-вторых, функции двух письменных языков Древней Руси взаимно дополняли друг друга (подобно тому, как это описано для социолингвистической ситуации диглоссии), так что два эти языка составляли функционально единое целое. Древнерусское общество не было ни двуязычным, ни диглоссийным коллективом, но его письменно-литературный язык лингвистически представлял собою внешнее на функциональной основе объединение двух языковых систем, особого рода конгломерат близкородственных и вместе с тем гетерогенных лингвистических структур. Наличие двух различающихся механизмов стабилизации нормы было связано не столько с различным отношением двух языковых систем, служивших основой письменно-литературного языка, к живой речи восточнославянского населения, сколько с их функциональным использованием. Однако набор материальных элементов двух языковых систем в значительной степени совпадал, и этот чисто лингвистический фактор возникновения смешанных текстов действовал рядом с теми социолингвистическими факторами, о которых говорилось выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Едличка А.* Проблематика нормы и кодификация литературного языка в отношении к типу литературного языка. // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах: Доклады на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам. 22—25 октября 1974 г. М., 1976. С. 19.
2. *Голстой Н. И.* Литературный язык у сербов в XVIII веке (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание. М., 1979. С. 166.
3. *Алексеев А. А.* «Песнь песней» в древней славяно-русской письменности. Ч. 1—2 // Ин-т русск. яз. АН СССР. Предварит. публ. Вып. 133—134. М., 1980.
4. *Творогова О. В.* Текстология и лексикография // Текстология славянских литератур: Доклады конференции, Л., 25—30 мая 1971 г. Л., 1973.
5. *Лихачев Д. С.* Текстология (на материале русской литературы X—XVII веков). 2-е изд. Л., 1983. С. 135—136.
6. *Мещерский Н. А.* К изучению языка «Слова о законе и благодати» // ТОДРЛ. Т. 30. 1976.
7. *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение. 1985. № 1.
8. *Горшков А. И.* Теоретические основы истории русского литературного языка. М. 1983. С. 58.
9. *Виноградов В. В.* Избранные труды. М., 1978.
10. Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографической комиссией. Т. 1. М., 1848.
11. *Золтан А.* Об одном западнорусизме в великорусском деловом языке XV—XVII вв. (статистика) // Russica: In memoriam E. Balczyky. Вр., 1983.
12. *Петрунин В. О.* Из истории юридической лексики древней Руси и XVIII века (злой и злодейство) // Лингвистические исследования. 1979. М., 1979.
13. Смоленские грамоты XIII—XIV веков / Подгот. к печати Сумникова Т. А. и Лопатин В. В. М., 1963.
14. *Волков С. С.* Лексика русских челобитных XVII века. (Формуляр, традиционные этикетные и стилиевые средства). Л., 1974. С. 71.
15. *Тарабасова Н. И.* О некоторых особенностях языка деловой письменности // Источниковедение и история русского языка. М., 1964.
16. *Дерягин В. Я.* К вопросу об индивидуальном и традиционном в деловой письменности (на материале вельских порядных XVII вв.) // Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.
17. *Дерягин В. Я.* Об историко-стилистическом исследовании актовых текстов / ВЯ, 1980. № 4.
18. Акты юридические или Собрание форм старинного делопроизводства. Изданы Археографической комиссией. СПб., 1838.
19. *Лихачев П. П.* Дипломатика. СПб., 1901. С. 91.
20. *Лаппо-Данилевский А. С.* Очерк русской дипломатики частных актов: Лекции, читанные слушателям Архивных курсов при Петроградском археологическом институте в 1918 г. (6. г., б. м.).
21. *Капитанов С. М.* Очерки русской дипломатики. М., 1970. С. 411—413.
22. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Ч. 1. СПб., 1851. С. 41.
23. *Hüttl-Folter G.* Die *trat/torot*-Lexeme in den altrussischen Chroniken: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien, 1983. S. 93—171.
24. *Еремин И. П.* Киевская летопись как памятник литературы // ТОДРЛ Т VII. 1949. С. 67—73.
25. Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970.
26. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980. С. 37.
27. *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.— Л., 1947. С. 115, 116, 354, 355.
28. *Франчук В. Ю.* О языке древнерусской дипломатии // ВЯ, 1984. № 4.
29. Русская историческая библиотека. Т. 6: Памятники древнерусского канонического права. СПб., 1880. Стб. 178, 174—175.
30. *Будилович А.* Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов Григория Богослова по рукописи Имп. публ. библ. XI века. СПб., 1871. С. 24.
31. *Граев Л. В.* Об одном стилистическом приеме в русском литературном языке XVI—XVII вв. // Уч. зап. Смоленского ГПИ. Вып. 24. 1970. С. 205.
32. *Worth D. S.* Was there a «literary language» in Kievan Rus'? // Worth D. S. On the structure and history of Russian. München, 1977.